

Глеб Горьшин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## ПЛАВАНИЕ ПО ВОЛГЕ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

«Волга-мать, краса рек, Волга – золотое дно. Нигде народ не находит столько способов развить свою промышленность, как на Волге; и во всей России нет ни свежее, ни здоровее людей, как на берегах ея».

*Из писем проф. Фукса. «Спутник по реке Волге, ее притокам Каме и Оке». 1902 г. Саратов.*

«Пассажиры становились все беспокойнее, и в то же время на них нападала какая-то вялость; ежедневные игры и развлечения прекратились; некоторые фильмы показывали уже второй раз, и почти все, не зная, куда себя девать, слонялись по палубе, сидели по каютам, принимались укладывать и перекладывать багаж, который был под рукой, и тревожиться о вещах, погруженных в трюм».

*Кэтрин Энн Портер.  
«Корабль дураков»*

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В свое время я сплавал на туристическом теплоходе по Волге из Ленинграда в Астрахань и обратно. Впечатления записывал в путевой блокнот. Подготовил для публикации в книге рассказов и очерков «Наедине со своим спокойствием». Рукопись книги сдали в производство в издательстве «Советский писатель». Тут накатила дем. волна, издательское дело рухнуло, рукопись мне вернули.

Прошло десять лет. Иногда беру, перечитываю написанное в ту минувшую эпоху, дивлюсь неповторимым ее чертам и причудам. Так, например, в 1985 году на туристических теплоходах плавали по Волге и другим рекам и водоемам «простые люди», еще их называли «тружениками», по профсоюзным путевкам, почти бесплатно. То есть никому из плывущих даже в голову не приходило, богатый он или бедный. Все были равны, что впоследствии осудили как уравниловку. И что еще удивительно по нынешним меркам – в то время государство, руководимое коммунистической партией, боролось с пьянством и алкоголизмом. Приверженцы зеленого змия, а таковых у нас большинство народонаселения, во время стоянок в приволжских городах бежали не на экскурсии, а в торговые точки за бутылком, выстаивали длиннющие очереди. На борту теплохода спиртное не продавалось. Вот какая занятная история!

Мои путевые заметки о плавании по Волге с годами приобрели привкус исторического свидетельства. Право, интересно повспоминать, каково нам жилось в исчезнувшей с карты стране по названию Советский Союз.

*Автор*

Началось плавание с общего собрания пассажиров. Ответственные лица за рейс нас наставляли:

«...Не следует спать головой к незадраенному иллюминатору, а ногами, ибо... У нас, слава Богу, пока не бывало, а на других рейсах... Ладно, если ссадят, положат в больницу, а на обратном пути возьмут. А то оставят в каком-нибудь городе – и без возврата».

И надо, идя по трапу кверху, держаться за поручень. А утром, по инею, по склизели на палубе, не оскользнуться. Пить воду из-под крана можно, но лучше не надо, лучше из титана. Нет, не потому, что кто-нибудь получил инфекцию, а профилактически: лучше знать, чем не знать. И не надо втыкать в розетки вилки электронагревательных приборов: розетки таковы, что вилки в них не влезают, не нужно применять силу.

Пойдете в сауну — это можно и инфарктникам и сердечникам, при не слишком большом количестве инфарктов — не сидите в сауне подолгу; минут десять — пятнадцать и хватит.

И еще, товарищи, мы будем возлагать венки. Собирать деньги на цветы. В прошлом рейсе, к сожалению, оказался один молодой человек, он потребовал отчета: какие цветы, сколько стоят. Но это единственный случай. Единственный молодой человек. Мы посмотрели в ваши лица, вы нам понравились. Среди вас, мы верим, подобного не случится.

Мы вас кормим хорошо. В основном едят благодарности. Но два рубля восемьдесят копеек в день — это и достаточно, и не очень. Так что... Приходите в наш бар. Только мы очень вас просим, не приносите с собой спиртных напитков. И, пожалуйста, танцуйте. Мы думали, что без спиртного все застесняются, но видим: бывает весело и от чаю, кофе, соков.

Будете брать в Астрахани вяленую рыбу, смотрите ей в глаза. Глаза у рыбы должны быть ясные. Если глаза помутнели, если в них бельма, не берите, это подозрительно...»

Ночью грохотала якорная цепь. На рассвете окошки (иллюминаторы) застила бетонная стенка шлюза. Вода в ванне шлюза прибыла; «Алексей Сурков» поплыл по Свири. Река в лесных берегах — что на свете прекраснее этого? Большая река хороша, но еще лучше впавшая в нее маленькая речка, уходящая в лес, в осень. Теплоход вплыл в Ивенское водохранилище — большую лужу, с островками, с гривами леса на островках, и вот скользя вдоль берега, вызолоченного, как только что отреставрированный купол на храме Спаса на крови, жметя к берегу, как телок к матке. На берегу тонкие дымы-свечи березовых, осиновых стволов, полыханье ивовых, черемуховых листов, иссиня-зеленый мир не поддающихся моде сезона ельников-сосняков. Берег то ближе, то дальше. Перу никак не угнаться за тем, что зрит око.

И женщины глядят из-под руки...

Одна из них сказала: «Я коренная ленинградка». Так сказала, как будто саму себя похвалила. Другая сказала: «У меня папа армянин. Он всю жизнь, как я помню, мучается: «Зачем я уехал из Армении в Ленинград?!» И все собирается уехать в Армению. Армения — это единственное в мире. Ничего подобного нет. Моя настольная книга — «Уроки Армении» Битова».

Вот, стоило отвлечься в сторону женщин... «Алексей Сурков» пересек Ивенскую лужу, опять втянулся в пестротканую извилисто змеящуюся Свирь. В том месте, где река вливается в Онежское озеро, на берег высыпали избы Вознесенья, роины набирающего силу писателя Коли Конява. В Вознесенье приехал, закончив Ленинградский Первый медицинский институт, молодой доктор, будущий писатель Василий Аксенов, отсюда родом его первая повесть «Коллеги». Теперь Василий Аксенов один из ведущих писателей в США, русскоязычных. Не начни он в Вознесенье врачебную практику, иная бы ему выпала стезя. Об этом судовая информаторша-всезнайка умалчивает.

Показалось новое Вознесенье — серокаменное, с маленькими глазами-бойницами своих одинаковых окошек. Всезнайка сообщила по трансляции из своей будки: построено паром-катамаран через Свирь, что принесло экономии народному хозяйству. И скоро построят в Вознесенье корабельный завод такой громадности, что причальная бетонная стенка вытянется на полтора километра. То есть вместо Вознесенья станет нечто вроде Нью-Чикаго, только лицом не к озеру Мичиган, а к Онего.

Раскинулось вокруг Онего, второе в Европе озеро по величине (первое — Ладога), первое по чистоте вод (свежо предание, но верится с трудом), со своими сорока семью породами рыб: лососями, форелями, паляями, судаками, сигаи, ряпушкой, не говоря про шук с окунями; с 1152-мя реками и речками, устьями и устьицами. Теплоход пошел в озеро под явившее себя солнце, со спицами лучей. И пошло Онежское озеро, все идет, идет...

Позади была ночь редкостной для наших мест звездности. Над Ладогой, слева по борту, прорезывалась Луна, с вечной своей спутницей Венерой. Совсем уже позади осталась горестная наша Нева, с ее невским «пяточком», с комиссаром Соколовым, приплывшим с «пяточка» в Невскую Дубровку, по ледоходу 1942 года, с последним донесением от уже убитых, мертвых, стоявших насмерть и не отстоявших «пяточка». Он доплыл – со льдины на льдину, – был подобран беспамятный, почти бездыханный, но отогрет, ожил.

Идем рекой Вытегрой, превращенной в канал. Низкий, болотный, поросший кустарником берег, мыльная вода, побелевшие с исподу листья на ивах. Потом станет выше, зазеленеет отава в лугах, высыплют к берегу стожки, невеличкие, как вологодские мужички. Здесь Вологодчина. Из Вытегры родом Николай Клюев, то есть из деревни Коштуги, Вытегорского уезда Олонецкой губернии. Об этом наша всезнайка не знает, а я после отыщу у Клюева стихи, подобающие сему месту. Да и искать не надо, поэзия Клюева вся здешняя, заонежская, потому и всемирная:

Меня Распутиным назвали,  
В стихе расстригой, без вины,  
За то, что я из хвойной дали  
Моей бревенчатой страны.

Что души печи и телеги  
В моих колдующих зрачках

И ледовитый плеск Онеги  
В самосожженческих стихах.

Что васильковая поддевка  
Меж коленкорových мимоз,  
Я пугачевской веревкой  
Перевязал искусства воз.

Информаторша сказала, что в Вологде есть поэты: Романов, Фокина, Коротаев, прозаик Белов. И «рано ушедший из жизни Рубцов». Будто встал Коля Рубцов ранешенько утречком своей жизни, собрал котомку да и ушел. Где же ты, Коля? Где? Зачем? Оставил нам стихи, в них ищи, по ним догадывайся:

Замерзают мои георгины.  
И последние ночи близки.  
И на комья желтеющей глины  
За ограду летят лепестки.

Нет, меня не порадует – что ты! –  
Одинокая странствий звезда.

Пролетели мои самолеты,  
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,  
Проскрипели телеги мои, –  
Я пришел к тебе в дни непогоды,  
Так изволь, хоть водой напои.

На весь теплоход и на окрестность поет Окуджава:

«Вот стоят у постели моей кредиторы...»

«Три судьбы, три жены, три сестры милосердия...»

«Женщина, Ваше величество, как Вы решились сюда?..»

«Кто Вы такая, откуда Вы? Ах я смешной человек. Просто Вы дверь перепутали. Улицу, город и век...»

«Давайте понимать друг друга с полуслова...»

«Тем более что жизнь короткая такая...»

«Алексей Сурков» стоит в камере шлюза, то есть подымается из мрака на белый свет – и в гору, в гору, по ступеням шлюзов. Тоже ведь поэт, Алексей-то Сурков, какой чести удостоился – стать теплоходом, суперлайнером. Спел бы что-нибудь, почитал бы стихи: «Бьется в тесной печурке огонь...» или к нам поближе, к Волге:

Синие сосны, синяя сонь, –  
Час расставанья.  
Над Волгой-рекой  
Расплескала гармонию  
Саратовское «страданье».

Сирень цветет,  
Не плачь,  
Придет...

Такие штучки с ходу становились советской классикой и одновременно эталоном фольклора. Но, убей меня Бог, я не пойму, что такое «синяя сонь».

Вот одолеем лестницу шлюзов (поэт, поднатужься!), и там, на верхотуре, на переломе «Волго-Балта» закончится предварение, начнется вливание в какую-то другую, неизвестную мне жизнь. И забывание жизни известной. Возвращение так далеко, что не видать его, как не видать ничего ни спереди, ни сзади, ни с боков – в ванне шлюза.

Что еще осталось в памяти — из предварительной фазы плавания, — так это приткнувшийся к берегу, к стенке Озерной пристани в Ленинграде, поодаль от главного причала, теплоход «Сергей Орлов», тоже белый, как «Алексей Сурков», но попроще, помельче рангом, водоизмещением, лошадиными силами. Тоже был поэт — Сергей-то Орлов, но не такой сановитый, как Алексей Сурков. И после смерти — у них разное... водоизмещение, а по поэзии — кто же взвесит? И нет в том нужды.

Помянем Сергея Орлова его же стихом, причастным месту, времени года, настроению плывущих за окном каюты берегов.

Широким журавлиным клином  
Последний выбит летний день.  
Погреться у костров рябины  
Сошлись избушки деревень.

Тоска, дожди, туман и слякоть —  
Глубокой осени пора,  
Как будто мир сошлись оплакать  
Кричащие в полях ветра.

Мы близко подойдем к родине Сергея Орлова — Белозерску. К тому Белозерску, где летом 1973 года сняты главные эпизоды «Калины красной» Шукшина, где мы однажды гуляли с Василием Макаровичем в белую ночь по берегу Белого озера, разговаривали о судьбах искусства, как о судьбах России. Это было неразделимо для Шукшина.

Искусство, как молодая вдова, всплакнуло по великому художнику и тотчас утешилось новыми забавами. России так не хватает ее даровитого сына. Нам не хватает тебя, Макарыч, ты слышишь? Пошто ты так рано ушел?

Род Шукшиных происходит, берет начало у притока Волги реки Шукши, дальше, в низовьях. Василий Шукшин порывался представить миру свою прародину. — Понизовье, но ему отказали. Он загорюнился...

Ладно, плывем дальше.

Опять мы в яме шлюза. Зеленый огонь, красный огонь. Зеленые сосенки, красные кустарники. А осинки облетели. Вот какие дела.

Едут, то есть плывут, на нашем теплоходе три якута и одна русская жена якута. Якуты посетовали: мало остается якутов в Якутии, все больше русские. На теплоходе вместительность 320 посадочных мест, семьдесят голов недобор в этом, последнем, рейсе. Значит, что же? Якутов на судне поболее одного процента — не так уж мало, достаточно для национального самоопределения.

Сегодня ходил по верхней палубе, дышал речной прохладой, насыщал зрение красотой русского Севера в середине осени. Все шла под брюхо судна желтая вода, дурная вода, неживая вода. Судно, тяжело пыхтя, взбиралось по лестнице шлюзов, как тучный старый человек — ветеран. Ночь его застала на лестнице, в желтой воде. Судно освещало себе путь прожектором, свет упирался в низкие берега, в мелколесье.

Я пригласил к себе в каюту женщину методиста бюро путешествий, плывущую на «А. Суркове» для усовершенствования методики. Я угостил ее кефиром с вафлей. От вафли она отказалась, прихлебывала кефир, как джин с тоником. Наш рейс непьющий, трезвенный. В первый раз в жизни я плыву по Волго-Балту, в первый раз угостил женщину кефиром.

Под утро был выход в Белое озеро. Слева на пригорке открылся Горицкий монастырь, прекрасный, горестный, как все на свете, идущее мимо тебя; рухнувший и реставрируемый, во веки веков.

Берега стали выше, на берегах избы коренных, спасших себя русских людей — Вологодчина, надежда и опора, кузница кадров нашей текущей словесности.

А вот и деревня Иванов Бор. Так и написано на голубеньком прибрежном строении, которое иначе не назовешь, как павильоном, хотя какой же павильон в Ивановом Бору? Черные полосы выкопанной картошки на пологом склоне к воде. Бодрое выражение на лицах изб, крашенных, с белыми наличниками, в три окна-глаза. Иванов Бор — лицом к Шексне.

Слева показала себя деревня Топорня — тоже очень русское заглавие.

День был голубой, с перистыми облаками, с рассеянным холодным блеском солнца, с ожившей водой, с затопленными берегами, с лужами-кляксами водохранилищ. Все кончилось Череповцом — его отрицающими жизнь, утверждающими невозможность жизни дымами, слившимися в одну шапку, как ядерный взрыв. Устоявшийся, постоянный, неunosимый ветром, непрони-

цаемый чад над Череповцом – прообраз преисподней для грешников, самими грешниками задымленной, чтобы, поджариваясь, еще и задыхаться.

На входе в Череповец блесст куполами «задействованный» на том свете храм, поодаль полыхало над трубой вечное адово пламя.

Прислонился к «Алексею Суркову» «Алтай», и неспроста: утром я рассказывал пассажирам нашего корабля про Василия Шукшина, про его родину Алтай. «Алтай» идет из Астрахани. Алтайские пассажиры посмеиваются: «Зачем вы в Астрахань? Незачем». Однако везут арбузы.

Выход из Шексны в Рыбинское море будет позже. Будет ночь выхода. День выхода истек. Хотя еще впереди кино и вечер «для тех, кому за тридцать». И – Боже! – как ужасно запрещение вина. О, корабль дураков! Глупые по пьянке, мы становимся ожесточенно-глупыми по трезвянке. Туристы из Донбасса ворчат: «Разве это жизнь?! Такой корабль! Надо чтобы огни и музыка!»

Ночью факел над дымами Череповца становится ярко-зловещим – дьяволов знак...

Ночью кончилось Рыбинское море, «А. Сурков» вплыл в Волгу. Утром я увидел с верхней палубы сразу пять церквей, разумеется, бросовых, одну о пяти головах... Кто на Волге не бывал, пол-России не видал!

Наш теплоход прижался левым боком к «Владимиру Ильичу» – собрату по плаванию, земляку, – у Ярославского речвокзала. «Владимир Ильич» проболтался сутки в тумане, припоздал; ему не оставалось ничего другого, как потереться бортом о борт своего собрата.

При прощании затейница «Владимира Ильича» поднимала написанные на больших картонах большими буквами слова популярных песен: «В целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего», «Прощай, любимый город» и др. Ее щиты походили на таблицы для проверки зрения в кабинетах глазных врачей. Туристы «Владимира Ильича» пели по шпаргалке и одновременно проверяли свое зрение.

Затейница «Алексея Суркова» не приготовила шпаргалок, на борту судна-поэта никто не пел, судовой баянист помалкивал. Поэт и вождь мирового пролетариата расходились, как в море корабли.

Но до этого оставалось еще четыре часа тридцать минут – целая экскурсия по Ярославлю. Туристы «Владимира Ильича» ходили на туристов «Алексея Суркова», как братья и сестры-близнецы, будто все на одно лицо. Пересадить их с одного судна на другое, и эти запоют по шпаргалке, а те замолчат.

Приплыли из Ярославля в Кострому. Правый берег Волги низкий, мелкоколесный, кустарниковый, густонаселенный. Это – ниже Ярославля; Ярославль остался вверх. В начале XI века его основал ростовский князь Ярослав Мудрый. Однажды случилось ему убить медведя в овраге; овраг стали звать Медвежьим; потом еще долго за Ярославлем сохранялась слава «Медвежьего угла»; ярославцев звали «медвежатниками». Медведь и в гербе города Ярославля...

В Ярославле еще не опали листья с лип и ясеней. На приволжских ярославских бульварах пахнет так же, как на бульварах Архангельска у Северной Двины и на бульварах Николаевска-на-Амуре. Тут русский дух, тут Русью пахнет, то есть большой русской рекой.

Экскурсовод Ярославского бюро туризма Александра Сергеевна отвесила нам поклон по-русски: «Добро пожаловать». Мы пошли за нею по Руси, частью сохраненной, частью отреставрированной. Увидели скрестившего на груди руки, над Волгой, Николая Алексеевича Некрасова, который погибал в Петербурге, а потом оживал у себя на родине, в Карабихе. Можно постоять рядом с ним, с книжкой Некрасова в руке, раскрыть наугад, повздыхать вместе с поэтом, заверить его, что – не забыт, возвышен, не зря...

Я призван был воспеть твои страданья,  
Терпеньем изумляющий народ!  
И бросить хоть единый луч сознанья  
На путь, которым Бог тебя ведет;  
Но, жизнь любя, к ее минутным благам  
Прикованный привычкой и средой,

Я к цели шел колеблющимся шагом,  
Я для нее не жертвовал собой,  
И песнь моя бесследно пролетела,  
И до народа не дошла она,  
Одна любовь сказаться в ней успела  
К тебе, моя родная сторона!..

Уплыла в небытие Кострома, с ее многовековой принадлежностью к Российскому государству, с ее ветхим дебаркадером, безо всякого речного вокзала, с беседкой на бугре, некогда на валу – вал укоротили в связи с

каким-то строительством; беседку перенесли на бугор. В этой беседке любил посиживать Александр Николаевич Островский. И добрую половину своих пьес он посвятил волжскому купечеству. И «Жестокий романс» по «Беспреданнице» Эльдар Рязанов снимал вот здесь, в Костроме. И дебаркадер все тот же, что был во времена купца Паратова...

В Ярославле я думал, что стоило, стоило ехать, плыть, идти — осуществить, запечатлеть, почтить Ярославль, с фресками середины XVII века в церкви Ильи Пророка, со стихами Володи Торопыгина, Вадима Шефнера, посвященными этой церкви, прочтенными Александрой Павловной наизусть...

У Шефнера я такого стиха не нашел (может быть, плохо искал). У Торопыгина — вот, извольте:

#### ИЛЬИНСКИЙ СОБОР В ЯРОСЛАВЛЕ

Иконостаса тусклым блеском он освещен.	С небес сошедшие святые, как смерды, жнут.
И сквозь века мерцают фрески со всех сторон.	Согбенные мужицкой долей, идут они,
Всегда я помнить буду ясно одну из них,	И ноги им босые колет простор стерни.
Ее особенные краски и каждый штрих.	От солнца жаркого их лица черны, как дым...
Серпов изгибы голубые сверкают тут.	И я почти готов молиться таким святым.

Володя Торопыгин вставил словечко «почти» в последние строчки стиха... для самооправдания, на всякий случай. Коммунисту молиться не пришло, разве что только «почти». Каково тебе, Володя, в мире ином, милый ты мой безгрешный безбожник?!

После Александры Павловны я не смогу слушать ни одну экскурсоводку. После липово-ясеневое Ярославля я не смогу предаться ни одному из предстоящих городов.

В Ярославле прорезался голос у Собинова. У актрисы Пелагеи Стрепетовой, шестнадцати лет от роду, был бенефис и — мертвая тишина в зале. Юная актриса заплакала, убитая тишиной, и тут грянул шквал; Стрепетову носили на руках по городу до утра, утром донесли до дому и поставили на ноги...

В ноябре 1884 года Александр Николаевич Островский написал Стрепетовой такое письмо (одно из множества писем драматурга актрисе):

«Многоуважаемая

Пелагея Антипьевна!

Пьеса, которую я пишу, вещь очень серьезная, и роль для Вас превосходная (Островский назначил Стрепетовой роль Ксении в пьесе «Не от мира сего»). Торопиться я не могу: во-первых, я привык к тщательной работе, а во-вторых, я очень нездоров и мне строго запрещено всякое умственное усилие, иначе я разобью свои нервы до помешательства...»

Когда в Ярославль приехала опера из Куйбышева (как странно: в Ярославль из Куйбышева, а не из Самары — несовместимость даже по звуку), пели «Князя Игоря» Бородина прямо на подворье монастыря, без декораций. Князь Игорь въехал в круг действия на коне. Актера публика сняла с коня, носила на руках, как некогда Стрепетову. Такая публика в Ярославле: хлебом ее не корми, дай поносить на руках лицедея.

А Федор Волков... О! Федор Волков тоже стоит на пьедестале, неподалеку от театра своего имени, в лосиных белых трико. Издали кажется, что он без штанов, подобно античному богу. (На стенах театра барельефы, изображающие ни во что не одетых античных богов и богинь.) Александра Павловна сообщила туристам, что Федор Волков был франтом, что он был необыкновенно хорош собой, сознавал это, натягивал на чресла лосины, перед натягиванием, как тогда было заведено у франтов, вымачивал лосиную кожу в бадье с горячим щелоком, отчего лосины уменьшались в размере. Натягивать их на то место, на каком им надлежит быть, приходилось по три часа. «Как их снимать, я не знаю», — сказала Александра Павловна. Все от души рассмеялись. Общий смех на экскурсии — триумф экскурсовода; чаще преобладает общая зевота.

В Костроме я не пошел на экскурсию, а пошел, вместе со всеми, в винную лавочку, встал в длинную очередь; водка передо мною кончилась.

9 октября 1985 года. Прошли Городец, по левому борту. Наша всезнайка сказала что-то про Китеж, но я не уловил сути: голос разносило по Волге, суть не совпадала с зачитываемым текстом.

Волга здесь полноводна, стало больше неба над головой. Но советские люди впрягли-таки Волгу «в работу на коммунизм»: природные берега затоплены Горьковским водохранилищем. Далеко вверх Ярославль, а мне с ним все не расстаться...

Стоит в сем городе на камне Федор Волков – щеголь... Царица Елизавета, прослышав об учиненном в Ярославле лицедействе – впервые в царстве Российском, – повелела лицедеев доставить в Петербург. Устроили смотрины... Из медвежатников выбрали одного Федора Волкова, остальных отправили по месту жительства – в медвежий угол. Федора выучили манерам европейского лицедейства. Для учения одного лицедее и прочих выбранных изыскали дом на Васильевском острове... Александра Павловна познакомила нас с императрицыным указом: запустить в сей дом сначала триста котов, искоренения тамошних крыс ради... Мы опять посмеялись. Ну правда смешно...

Тут же поплакали, у Ярославского вечною огня. Александра Павловна рассказала о том, как привезли в Ярославль несколько тысяч ленинградских блокадных детей (среди них Володю Торопыгина), как отдали ярославские бабы детям свои фуфайки, с чего началось возвращение детей к жизни – с первой дозы тепла.

И еще был Ярославский художественный музей, в нем Константин Коровин, 12 полотен (выставлено шесть), импрессионистического коровинского периода. Коровин – ярославец, так же, как Некрасов, Собинов, первая космонавтка Терешкова. Его парижские работы привезла в дар Ярославлю парижская подруга художника. На одном полотне Коровина – Париж, живой, с дрожащим, рассеянным светом, с парижским серебристым воздухом, пятнами, бликами, как у парижан: Моне, Писарро, Сислея...

На прощанье Александра Павловна опять поклонилась нам в пояс, тряхнула «кистями» своей белой шали. Прошла мимо Балахна. Наша всезнайка сказала, что «Балахна» то ли потому («одни считают»), что солевары Городецкого Усолья били челом Петру I: соль ест кожу, нет мочи терпеть. Петр будто бы распорядился одеть солеваров в белые балахоны, отсюда и Балахна. То ли потому, что в низовьях Волги есть татарская Блахна, тоже с солью. И вот...

На Волге сидят рыбаки в своих лодках. Леса по берегам стали липовые, собственно, не леса, а купы деревьев на равнине – наша волжская пампа.

День такой ясный, с ветерком набегающим... Зеленоглазая женщина полулежала в шезлонге на верхней палубе, почему-то лицом не к солнцу, а к дыму из трубы идущего в кильватере «Владимира Ильича», теперь привязанного к «Алексею Суркову» до самой Астрахани. И так вольготно на Волге, даже кажется, что слово «вольготно» от одного корня с «Волгой» – состояние души человека, плывущего по Волге, на лодке или суперлайнере. Хотя у Даля «вольготно» восходит ко «льготе»: облегчать себе произвольно обязанности, отлынивать от работы.

Зеленоглазая женщина уже в третий раз «отлынивает», плывет по Волге. А мужчина с бородкой – второй, прихватил с собой рыболовные снасти, надеется порыбачить в Никольском, на «зеленой» стоянке.

Скоро, скоро город Горький. «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет».

Каждый день на теплоходе начинается пением петуха, затем трели соловья. И – доверительный, ласковый голосок всезнайки Валентины Сергеевны – она родом из Костромской области, из Чухломы: «Туристы первой смены приглашаются на завтрак. Приятного аппетита!»

Что значит «приятный аппетит»? Произнести это заклинание не всякий может. Я долго мучился, внутренне напрягался, пыжился, пока решился. Мастера коллективных кушаний, т. е. большинство населения, проводящее свои отпуска в санаториях, домах отдыха, плавающие на туристских парохо-

дах и т. д., говорят «приятного аппетита» дважды: при посадке за стол и при выходе из-за стола — остающимся дожевывать, доглатывать. И я научился.

Всезнайка читает лекцию о волжанине Мельникове-Печерском. Родился Павел Иванович Мельников в Нижнем Новгороде, в 1819 году, закончил Казанский университет по кафедре славянских наречий. Псевдоним Андрей Печерский ему придумал Владимир Даль, когда Павел Иванович готовил к публикации свой роман «В лесах» — о расколе, о скитах в Заволжье, о кержаках. Вслед роману «В лесах» вышел, как продолжение, роман «На горах». По роду службы Павел Иванович Мельников был чиновником для особых поручений при нижегородском губернаторе Урусове, после в Москве числился до конца дней при Министерстве внутренних дел.

Но Бог с ней, с лекцией. Почитаем маленько роман «В лесах», тем более, он о том же, ради чего плывем, — о Волге, по ту ее сторону, о Заволжье...

«Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленный и ловкий. <...> В заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору, — новгородцы в давние, Юриковы, времена там поселились. Преданья о Батыеве разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву», и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре.

Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княжескими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую».

В заключение лекции всезнайка вынесла приговор трудам Мельникова-Печерского: «Идеализация патриархальных форм жизни. Стилизация языка». То есть всезнайка-то ни при чем, это ей написал методическое пособие какой-нибудь злостный обалдуй — научный сотрудник. В самом конце лекции свысока поощрительное: «Мельников-Печерский любил широкий простор матушки-Волги». И точка.

В Горьком есть хорошо сохранившийся, новехонкий, как с иголочки, Банк Российской империи (отделение), с гербом: орлом о двух головах и короной над ними. Здание занимает целый квартал — с башенками, арками, мезонинами, изукрашенное, как торт. Банк собственно занимал часть здания, а так — торговый дом. «В ложнорусском стиле», — сказала экскурсоводка.

И в Казани тоже есть здание-торг. «В ложнорусском стиле», — сказала тамошняя гидша, казанская сирота. Все экскурсоводки носят печать какой-то несчастья, обижены зарплатой и еще чем-то, даже и ярославская Александра Павловна, правда, у той — трагичность, не только ее личная, но и созвучная тому, о чем ведется ее речь, — трагедия русской истории.

В Ярославле в 1918 году разразился белый мятеж. Белый террор извел большевистскую верхушку, во главе с председателем губисполкома Нахимсоном (Владимирская площадь у нас в свое время была площадью Нахимсона). Большевиков раздевали донага, перепоясывали, связывали веревками, подпрягали лошадей, гнали. Кто-то падал, умирал...

Ленин послал в Ярославль войско, включавшее в себя латышей, венгров, китайцев, разумеется, красных. Разрешено, т. е. приказано было расстреливать город из пушек.

В Казани в 1918 году расстреляли большевистского вождя Шейнкмана у стены Кремля, с ним его сподвижников.

Самое лучшее, что есть у человечества, т. е. Бог с ним, с человечеством... Речь идет о русском народе, наиболее обделенном культурой... Абсолютная стоимость — без конъюнктуры, по которой выносят суждение о народе, — это его культурность, интеллигентность, умение правильно говорить... по-русски. И совсем хорошо, если это сочетается с человеческим лицом, чтобы на лице можно было прочесть выражение души.

Девы горы. Некогда обитали на них девы-богатырки, амазонки-воительницы. («Вторая смена приглашается на завтрак. Приятного аппетита»). Женщины управляли племенами (V в. до н. э.). В царствование Екатерины II Девы горы стали Жигулями. Между устьями рек Самара и Сызрань... Место



перегрузки товаров с верблюдов на барки называли «Джигули». Древнее тюркское слово «джигули» означало «бурлак». («Выдь на Волгу – чей стон раздастся над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бечевою»). Екатерина II повелела именовать места исконными тюркскими именами (мудра!).

Самарская Лука. Известняки, доломиты, гипс. Жигули плавают на нефти. На склонах Жигулей липа, клен, сосняки. Жигулевский массив – заповедный.

Попутная легенда – из методических разработок всезнайки: в 1670 году разинцы бились с царевыми войсками под Симбирском. Атаман закопал на кургане дымящую трубку. С тех пор курган зовут «Курительной кручей».

В казанском Музее изобразительных искусств картины нам объясняли русская девушка волжских кровей – сероглазая, грустная – нет ничего грустнее участи экскурсоводки, – и у нее находились слова, свидетельствовывавшие (экое выколопнулось словечко, со «вшами») о развитости ее ума и души, о наличии интеллекта – высшего блага. В Казанском музее, так же, как в Ярославском, поскрипывали полы, пахло чем-то давним, обитал живой дух хозяев этого дома. И бабушки у ворот каждого зала... Глаза у бабушек не стеклянные, как в Эрмитаже, в Русском музее в Питере, а живые бабушкины глаза. Девушка нам говорила, что надлежало говорить, что в русском искусстве, в самом его начале, в XVIII веке, наметился переход от иконы (в первом зале музея восемь икон) к психологическому портрету человека. Плоскостное иконное изображение, напряженность позы уступали место раскрепощенной кисти художника, художник решился проникнуть в таинство человеческого духа... Ну, конечно, не сразу, сначала парсуна, т. е. персона, опять же регистрация лика... А вот смотрите – Тропинин, с лишком сорок лет крепостной... Венецианов... И обратите внимание на провинциальную школу: при неумелости руки она хороша непосредственностью художественного восприятия действительности, донесла до нас черты подлинной жизни того времени, аромат, колорит... Вот групповой портрет... Девушка говорила не этими словами – своими. Хорошо было слышать и видеть правильно говорящую по-русски девушку. Мы разучились говорить, потеряли свой язык, как и искусство...

Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге. Поставил перед собою достойную художника и сына России цель: доказать искусством, что природа России имеет честь быть предметом искусства ничуть не менее, чем, скажем, итальянская природа. Занялся инвентаризацией красот русского леса (под Елабугой). Это вначале, потом художник изменился. Не меняясь, художник не может сохранить в себе художника. Иван Иванович потерял дочерей и жену...

Казанская сирота – экскурсоводка сказала это так, что впору бы и заплакать... Шишкин написал «Вечер в сосновом лесу» – посмотрите, деревья как обуглившиеся головни. И безнадежная воспаленность заката. Художник в картине леса передал состояние души.

А вот «Полянка» – пейзаж, исполненный в прошлом веке так, что можно его принять за поиск современного художника.

Много все же в пейзажах Шишкина чего-то написанного не по-русски. Это я говорю от себя, любя Ивана Ивановича как художника одной крови, одного корня. Его «Вечер», закатный свет, отраженный в колеях лесного проселка, пронзает меня, привораживает, пробуждает во мне что-то сокровенное, заросшее посторонним.

И надо было долго-долго смотреть на многооттенчатую, что-то значащую прозелень полянки. Но вот еще Илья Репин – волжанин: читающая девушка в потоке солнечного света... Кустодиев, Коровин – перевели импрессионизм на русский, т. е. на новый язык художества, для нового времени. И «Бубновый валет»: Машков, Фальк, Кончаловский... И – прощай грустная девушка из казанского Музея изобразительных искусств!

В Казани родился Шаляпин – вот какие дела!

В «Спутнике по реке Волге» 1902 года я вычитал: «Державин родился и воспитывался в Казани. Здесь мы помещаем стихотворение, написанное Державиным около 60 лет от роду на берегах р. Волхов, в с. Званка. Из этого стихотворения видно, что поэт любил Казань и не забывал о ней до глубокой старости.



И правда, не надо бегать, против законов естества: в одно время плыть и бегать.

Мир становится шире, обретает линейность. Прямая линия горизонта. Береговые увалы — с контуром, прочерченным по лекалу. Волжские кручи, песчаные осыпи с темными бороздами-потеками, овраги-распадки, пляжи с выбеленными песками. Пароход идет к Саратову. На кручи лезут, лезут кустарники, как лезли пугачевские мужики на стену казанского кремля — без надежды на взятие.

Накануне смотрел фильм «Берегите мужчин». Его поставил режиссер по фамилии Серый. Все же фамилия выражает определяющую черту ее носителя. Особенно это заметно у творческой интеллигенции; у нее больше возможностей для самовыражения, чем у лиц иных профессий. Я знал писателя по имени Сергей; его жена, любя и обожая повелителя, ласково называла его при людях: «Серенький». Видя такие сцены преклонения жены перед мужем-писателем, я благодарил моего Бога, что у меня не такая преданная жена, а то бы звала меня «глупеньким», по первым двум буквам моего имени Глеб.

Самое лучшее место на теплоходе — верхняя тентовая палуба. Есть и еще местечки: музыкальный салон, читальный салон. В одном — репетиции к празднику Нептуна, в другом — шахматно-шашечный турнир. А по вечерам... Да, по вечерам народ танцует в кинозале. Под водительством Гали-затейницы. Танцы начинаются после того, как заснет трехлетняя дочь Гали Аня (вчера начались в 21.50). Если Аня долго не засыпает, то с ней сидит Валя, наш информатор-всезнайка. Чуть Аня заснет, всезнайка Валя тоже прибегает на танцы. Вчера я станцевал с Валей вальс, с затейницей Галей медленный фокстрот.

Затейница Галя выходит на круг, вся налитая жизненными соками, состоящая из округлостей разного радиуса, с округлыми большими коричневыми глазами, белозубая — сразу берет верх над массой. Сегодня Галя предлагает публике... как это назвать? Викторину. В репертуаре Гали — развлечение масс и дидактика:

— Давайте подумаем. Вот вы идете на свидание с девушкой, в первый раз. Можете вы ей подарить цветы? Да, можно... Какие цветы? Что? Ромашки. Так, ромашки. Розы. Луговые цветы. Что вы ей подарите, несколько цветов, один цветок, букет?

Галя опрашивает публику, затем переходит к назиданию:

— Девушке можно подарить один цветок, маленький букетик. Большой букет дарить неприлично, это уже намек на что-то, аванс в расчете на взаимность. Ну так, хорошо. Вы сделали предложение девушке, получили согласие, она уже ваша невеста. Какие цветы вы подарите своей невесте?

Гладиолусы. Так. Пионы...

И вот вы женились, живете семьей, у вас есть дети, и вы пошли с визитом к теще. Какие вы ей подарите цветы?

— Цветущую крапиву! — высовывается турист, пьющий по утрам малоалкогольное, имеющееся на борту пиво «Столовое». Что он пьет по вечерам, можно предположить, судя по его испитому, лимонно-выжатому виду.

Толстый пьющий турист (пьющий напоказ: имею право, заслужил) называет себя шахтером. Может быть, и правда шахтер, но едва ли спускается в забой, там ему тесновато. Он приходит в столовую в спортивных синих штанах; его живот обозначает всю свою отчужденную неподъемность. Почему-то спортивные костюмы натягивают на себя многие, даже грузные старые женщины. Это тяжело видеть. Многими «туризм» понимается слишком буквально.

— Какие цветы дарят мужчинам? И вообще, можно ли дарить мужчинам цветы? — продолжает свое дело затейница Галя.

Мало кто что-либо знает в отношении цветов и мужчин. Выясняется, что мужчинам должно дарить красные цветы, гвоздики.

На эстраде у пульта звукопроизводящей техники сидит зав. музыкой Гера. Он мал ростом, чуть поболее натурального лилипута. Гера — музыкальный гном. Он живет только музыкой: записями, аппаратурой. Его стихия — зарубежная музыка и зарубежная аппаратура. Говорят, у него есть такие записи, такие воспроизводящие устройства, какие выдвигают их обладателя чуть ли не в миллионеры, разумеется, по нашим меркам. У Геры нет семьи. У него есть баян, он играет в то время, когда прощаются с пройденным городом — песней. Иногда Гера исполняет на баяне вальс или танго. Баян

великоват для его коротенького туловища, Гера играет в наклонном, полужающем положении.

Танцы Галя раскочегаривает своим личным энтузиазмом. Мужчины застряли у входа в зал или заклинились между тесно сидящими в ряд пожилыми женщинами. Галя объявляет медленный фокстрот, равноправие обоих полов в выборе-приглашении. Так, я раз был выбран старушкой из Таллина («Вы скучаете?»), вдругорядь темпераментной ярко выраженной восточной женщиной с родинками и бородавками.

Наиболее агрессивно, гоголем, по-атамански танцует толстый шахтер — с высокого роста, в джинсах, с покрашенными в охряный цвет, коротко стриженными седыми волосами, с постоянным выражением тигриности на лице дамой. Дама не понимает шуток: на встрече с начальствующим составом корабля спросила, в какую розетку втыкать электрокипяtilьник (только что главный механик объяснил, что кипяtilьником пользоваться нельзя). Главный механик сказал: «Как только вы включите кипяtilьник, мы уже будем знать, в какой каюте, и с вас штраф пятьдесят рублей». Все знали, что кипяtilьники втыкают, кипятят, механик шутит. Дама еще прибавила тигриности на своем лице, не поняла шутку. Она может быть главным бухгалтером или инструктором обкома профсоюза. Танцует она почти так же агрессивно, как ее партнер, но если его агрессивность неопасна, сродни вальяжности, то у дамы — в лице, фигуре, движении — читается вызов: вот видите?! Я вам еще и не то покажу!

Прогулки по Куйбышеву и Саратову однотипны, как сами эти города «в ложнорусском стиле». Я держусь в этих городах иностранцем. Признаться, и впрямь житель Питера — иностранец в старом русском городе. Какая все же прелесть эти города «в ложнорусском стиле», их горбатые — вверх-вниз — улицы с ясеновой листвой!

Давайте жить... друг другу, потакая. Тем более что жизнь короткая такая!

Город Дубовка — одна из бахчевых столиц. В Дубовке бережно сохраняется один дуб, его год рождения 1594-й. Размах кроны дуба — 25 м. Под дубом сиживали Болотников, Разин, Пугачев. Рассказала наша всезнайка, хотя в Дубовке не побывал ни один турист ни с одного рейса. Человек, вернувшийся в методичку легенду о дубе, я думаю, тоже в Дубовке не бывал.

Вчера присмотрелся к той, уже описанной мною женщине, с тигриностью в облике, и должен оговориться: за девять дней нашего плавания, после танцев с толстым шахтером, дама как-то отмякла, ее лицо выразило то самое осуществление, ради которого мы плывем. А на голове у нее (она шла по трапу, я видел сверху) спереди хохолок-султанчик; это в ладу с неуступчивостью характера; бухгалтеру нельзя уступать.

Вчера был день в Волгограде. Мне хочется сказать: в Сталинграде — Волгоград ненатуральное слово, не прижилось к этому городу (и Сталинград — в прошлом). Без слова «Сталин» не объяснить, почему не отдали Мамаев курган, не скатились в Волгу, побили немца, выстроили новый Сталинград. Сталин — не рябой, узколобый, жестокосердный властитель в Кремле, убивец — не только людей, но и России. То — Джугашвили, так бы и надо сказать. Сталин — всеобщее творение, символ веры, отдельный от человека, даже непричастный ему. И город на Волге — Сталинград... Царицын погребен, перепахан. Самара, Саратов, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород — русские города, а Сталинград — советский, овеществленная наша доктрина, как говорится, воплощенная мечта. В Волгограде (ладно, пусть так и будет) чувствуешь себя как бы в столице уже осуществившегося царствия будущего. Место не мешает, не путается в ногах, не отвлекает камнями старины. Ходить по Волгограду, смотреть, дышать в нем — легко; взгляд прямой, смотришь прямо ему в глаза, не прищуриваешься, не косишься на то, что «в ложнорусском стиле».

В Волгограде много деревьев, серебристых елей, ясеней, акаций, берез. Не меньше и заводских труб, как положено социалистическому городу. И так далее. Я могу продолжать это одическое описание Волгограда в октябрьский, солнечно-ветренный день.

И не забыть бы про Волгу. Да, Волга! Это — легкие Волгограда, и это его ворота! И синева. И заволжские дали. И белые пароходы. Такие реки, как Волга, могут быть только в России, по силам только российским городам

(даже и социалистическим). Волгоград и еще Ленинград. Правда, Петербург оседлал Неву, стал одной ногой на ее правый берег, другой на левый — и ничего, ноги стоят крепко по сую пору...

Ушли три дня и не вернешь — ау! где вы? Три незаписанные дня плавания, нерабочие дни, сбой с нормального хода. Коньяк в буфете астраханской гостиницы «Лотос» у пристани, — недоизъятый, недоупраздненный, просочившийся, хотя и разбавленный, но токсичный... В непьющей Астрахани. О! Астрахань!

В Астрахань сбежалось множество теплоходов: «Эрнст Тельман», «Енисей», «Тихий Дон», «Борис Чирков», «Ильич», «Н. В. Гоголь», «Юрий Завадский», «Хирург Разумовский»...

А Волга у Астрахани не так уж и широка (стоило ли плыть по Волге до Астрахани, чтобы сделать это открытие?)

Вчера передавали по радио из Москвы мой рассказ «Грибы поздней осени». Это мне был подан голос оттуда, из запредельных миров (за пределами достижимости еще в течение десяти дней). Так бывает: ты оторвешься, сбежишь, возможно, и заплутаешь, а тебе подадут голос, прочтут твой рассказ — и трудно бывает, как говорится, идентифицировать себя, оторванного, заплутавшего, с тем, в эфире звучащим, составленным из тобою когда-то написанных слов.

Начальник рейса — по туристической линии — в прошлом генерал авиации, командир дивизии, Герой Советского Союза Павел Павлович Калюжный рассказал о том, как таранил немца-разведчика. На большой высоте (кажется, на семи тысячах метров) в его самолете перестали стрелять пушка и пулемет: то ли сжался металл от холода, то ли замерзла смазка, то ли еще что... И он таранил. Он был истребителем. А теперь он начальник туристического рейса (или директор). Десять лет назад... Павел Павлович был молодцом. Он и теперь молодец, спортивный, подтянутый, седенький — и очень какой-то отдельный от толпы, внедренный в толпу как вожак — и отдельный. В лице его, кроме свойственной человеку его судьбы мужественности, суровости, есть еще и некая... Впрочем, в слове можно ошибиться. У него ускользающее из многоликости толпы, на чем-то своем замкнутое лицо, внимательно все видящие глаза, с живым мягким блеском.

И все же не писать три дня в плавании по Волге — это как болезнь, приступ нестабильной стенокардии. Да так оно и есть: грудная жаба. Во времена Николая Семеновича Лескова грудную жабу звали по-латыни «ангина пекторалис». Подверженный этой самой «ангине», писатель назвал одного из своих знаменательных героев Пекторалисом: Гуго Пекторалис, в рассказе «Железная воля».

Повернули. Собственно, повернули давно. За окном город Куйбышев. Всезнайка сказала, что в городе Николаевское Самарской губернии родился Алексей Толстой. Алексей Константинович или Алексей Николаевич, этого не сказала. Алексей Константинович родился в Петербурге, вспомним от себя.

Прочтем хоть несколько куплетов из «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» этого насмешливого провидца; писал «Историю», как в воду глядел:

Послушайте, ребята,  
Что вам расскажет дед.  
Земля наша богата,  
Порядка в ней лишь нет.

И так далее, в том же духе.

В Саратове родился Константин Федин. И был он хотя малость сутуловат, но «серый пиджак как влитой облегал его стройную фигуру. Лицо освещали удивительно синие глаза». Так сказала всезнайка.

Плывем вверх по Волге. Корабль идет с натугой, не то что вниз. Новые сведения о Волге проникают в сознание туристов тоже с натугой: сознание малость перегружено.

Так много всего позади. Было впереди, а теперь позади. И есть о чем сожалеть — о только что бывшем рядом с тобой и безвозвратно утраченном, не записанном в этот блокнот.

Всезнайка сообщила о Николае Гавриловиче Чернышевском, каков он был, как родился в Саратове, рос, уповал, преуспел, был отмечен, наказан, помучил-

ся, возвратился и помер. Слушаю краем уха, а сам все еще в Астрахани. Я малость себя потерял в великих волжских просторах. Мое духовное существо расслаивалось, раздроблялось... На стол являлись дунцовые раки, сваренные на огне от кизиловых дров, в заволжской пампе, против села Никольского. Янтарем отливала в дюралево чугуне уха из осетровых голов.

В «Спутнике по реке Волге» помещена реклама всех видов товаров, продуктов, услуг, доступных на великой русской реке в самом начале века. Мое внимание привлек прейскурант «Калымкинского пиво-медоваренного товарищества поставщиков Двора Его Императорского Величества в Саратове и Самаре:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1) Венское пиво за ведро (20 бутылок) | 1 р. 80 к. |
| 2) Баварское                          | 1 р. 90 к. |
| 3) Пльзенское .                       | 2 р. 20 к. |
| 4) Портер                             | 3 р. 10 к. |

Все напитки имеются постоянно в продаже самого лучшего достоинства».

О, сколько станцовано танцев над горестной Волгой-рекой... Напрашиваются рифмы: танцев — протуберанцев, рекой — покой, но не идут на ум другие слова. Как в деле с ухую: осетровые головы есть, куплены в Астрахани, и дюралево чугун куплен, но еще нужны: спички, дрова, соль, лук, хлеб, вода питьевая, ложки. Вынуть из цепи хотя бы одно звено — и ухи не будет. Еще нужны: берег с неподвижным, остановившимся временем, чистое небо над головой, участники ухи, обладающие необходимым потенциалом доброты друг к другу. И это еще не все...

Крыло — небесная лежанка.  
и птица ленится, летая...

*Велимир Хлебников.*  
\ «Слово о эль»

Прошли Ульяновск (Симбирск). Отсюда родом Николай Михайлович Карамзин и Иван Александрович Гончаров. Город литературный. Царь Николай I повелел поставить памятник посреди Симбирска историку государства Российского Карамзину.

Мела метель... Пришел к себе в какоту, перевел кондишен на тепло, заварил чайку — вот тебе и экстраполяция из прошлого века в двадцатый...

По берегам чувашские боры, песчаные отмели, пригорки...

Метет метель на родине Чапая...

Василий Иванович Чапаев стал в наши дни, в наши годы самым популярным героем городского фольклора, уподобился Ходже Насреддину. Перевоплощение отважного комдива в героя устного творчества, исполненного скепсиса, сарказма, безудержного самоосмеяния, извечно милого русскому народу, началось, очевидно, с фильма «Чапаев». Профессиональное искусство шагнуло в широкие массы. Произошла вспышка чапаевщины — и длится; народу жалко расстаться с полюбившимся героем...

Василий Иванович с Петькой судили-рядили, как наказать попавших в руки лютых врагов. «Давайте мы их напоим, — предложил Петька, — а утром не дадим опохмелиться». — «Ну что ты, — возразил Василий Иванович, — это уже садизм, мы же не фашисты».

В образе Чапая сконцентрирована расхожая этика, нравственность, только наизусть, в ерническом духе. В циклах о Василии Ивановиче улавливается доминанта российской действительности (исторически выношенная) — невежество, такое родственное нам, неизбежное, с любовью самим себе приписываемое...

Отошли от Чебоксар... Чапаев родился в деревушке-слободе, впоследствии оказавшейся в черте города. На первой мировой войне он получил за храбрость «Георгия» всех четырех степеней.

По телевизору поучают: «Малыша надо сажать на горшок сразу, как он попросился. Не следует держать его на горшке более 3 — 4 минут...»

«В свое время царица Екатерина II, путешествуя по Волге, останавливалась вон там — видите, церковь Успения... И ей городок понравился больше, чем Казань. Она указала построить... И выстроили... Но во время пожара...»

Пожары пожирали все волжские города. В каждом из них побывала царица Екатерина. События давних лет принесли не только бедствия, восторги первоначальным обывателям сих мест, но и дают пищу для пустоговорения, приносят скудный заработок экскурсоводкам спустя 100, 200, 300, 400 лет.

Теплоход плывет по Чебоксарскому морю; на море покачивается, туша теплохода покряхтывает. Закончился шахматный турнир. Абсолютным победителем среди десяти сильнейших (выиграл все встречи) вышел турист по имени Лева. Он работает в одном НИИ с туристкой Альбиной. В одном отделе с Левой и Альбиной работает Левина жена. Когда Лева с Альбиной брали путевки на один круиз, Левина жена горестно-саркастически вздыхала: «Ты возьми, Лева, мой новый пеньюар, у нас с Альбиной почти одинаковые фигуры. Ты, Альбина, какое любишь вино? Я положу Лева в чемодан...» Это рассказывают Левины с Альбиной сослуживцы, совершающие тот же круиз. Так рождаются круизные анекдоты.

Невежество – это могущественная сила, и мы не можем предсказать, к чему она приведет. Нечто подобное высказал Маркс.

Невежество стало государственной политикой, догмой и – побеждает, т. е. государство идет, как тяжелый, черный железный ледокол – по мелкой скорлупе человеческих судеб, наций, народов.

Вчера я спускался в Ульяновске по спуску Минаева. Дмитрий Дмитриевич Минаев – поэт; критик второй половины XIX века Николай Николаевич Страхов раскрывал глаза публике, утверждая, что Некрасов весь вышел из Минаева. Но публика почему-то не вяла. На нашей памяти остался от Минаева разве что романс:

Я знал ее малым ребенком когда-то,  
Однажды, тогда ей десятый был год,  
Она свою куклу случайно разбила  
И плакала целую ночь напролет.

Промчалось, как ясное облако, детство,  
И как изменилась подруга моя!  
Она мое сердце разбила на части,  
Но плакал об этом один только я!

Жестокий романс!

А помните? (Вы все, конечно, помните...)

Нелюбимо наше море,  
День и ночь шумит оно;  
В роковом его просторе  
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный,  
Парус мой направил я!  
Полетит на скользки волны  
Быстрокрылая ладья!

Это написал уроженец Симбирска, современник Пушкина Николай Михайлович Языков. Его же перу принадлежат «Стихи на объявление памятника историографу Н.М. Карамзину», разумеется, на родине того и другого, в Симбирске:

Великий подвиг свой он совершил со славой!  
О! Сколько дум рождает в нас!  
И душевных дум, текущий величаво  
Его пленительный рассказ,  
И ясный и живой, как волны голубые  
Реки, . царицы русских вод,  
Между холмов и гор, откуда он впервые  
Увидел солнечный восход!  
Он будит в нас огонь прекрасный и высокой,  
Огонь чистейший и святой,  
Уже недвижимый, в нас, заглохший в нас глубоко  
От жизни блудной и пустой, –  
Любовь к своей земле. Нас, преданных чужбине,  
Красноречиво учит он  
Не рабствовать ее презрительной гордыне,  
Хранить в душе родной закон,  
Надежно уважать свои родные силы,  
Спасенья чаять только в них,  
В себе – и не плевать на честные могилы  
Могучих прадедов своих,  
Бессмертен Карамзин!..

В уже упомянутом «Спутнике по реке Волге» сказано: «Недалеко от Симбирска в деревне Киндяковке, находится знаменитый обрыв, описанный

в романе Гончарова «Обрыв». Местоположение, занимаемое этой деревушкой, очень живописно».

В 1670 году, при царе Алексее Михайловиче, воевода Мирославский, князь Барятинской под Симбирском остановили, обратили в бегство «пониловую вольницу» во главе с «разбойником» Стенькой Разиным. «Воевода с жители Симбирска за их службу через посланного стольника Чирикова получили от Алексея Михайловича благодарность. Поражение Стеньки Разина под Симбирском празднуется городом ежегодно 21 мая крестным ходом вокруг старого города, где была крепость».

Я доехал на трамвае № 4, затем на автобусе № 21 до остановки «Речной вокзал» и пошел проулком вниз. Прουλком был тот же до пожара и после пожара — прошлого века, позапрошлого и т. д. — пожары полыхали в деревянных городах во все века. Домишки в три окошка на улицу, с наличниками, ставенками, вросшие в «культурный слой». Спуск Минаева постепенно отчуждался от проулка, от почвы; бетонные плиты складывались в лестницу, привели на виадук — над железнодорожными путями. Стал виден причал, вот «Алексей Сурков» — о, радость! К его корме пристроился носом точно такой же «Константин Симонов». Вот и сошлись — на Волге, у причала Ульяновска, в конце октября 1985 года два равновеликие поэта, Алеша и Костя...

Ты помнишь, Алеша, дороги  
Смоленщины,  
Как шли бесконечные злые дожди,  
Как кринки несли нам усталые женщины,  
Прижав, как детей, от дождя их к груди?

Нас пули с тобою пока еще милуют,  
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все-таки горд был за самую милую,  
За горькую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,  
Что русская мать нас на свет родила,  
Что, в бой провожая нас, русская женщина  
По-русски три раза меня обняла.

Да, так вот мемориал В. И. Ленина... Двухэтажная гостиница «Венец» — для паломников к святому месту...

Илья Николаевич Ульянов, чуваш, из семьи астраханского поселенца Ульянца...

Не хочется мне об этом говорить и думать, настолько все это далеко от того, что мы называем «русской жизнью». Инспектор народных училищ Ульянов, конечно, был добрым семьянином, ответственным гражданином, за что регулярно вознаграждался властями. Он вел образ жизни, достойный своего звания, положения... Жена его Мария Александровна Бланк, судя по тому, что говорят про нее экскурсоводы мемориала, обладала некоей экстерриториальностью, одинаково свободно жила в Симбирске, Казани, Петербурге... Семья Ульяновых купила «хуторок» под Самарой. Что значит «хуторок»? это не расшифровывается.

Володя Ульянов помыслил уехать учиться в Сорбонну. Поездку эту Володина мама мотивировала еще и тем, что мальчик нуждается в лечении на водах Виши. Лицо, от которого зависело: дать, не дать визу — не дало, довольно и северокавказских вод. О, как оно было недалеко видно, это лицо! Уедь Володя в Сорбонну, в Виши, он бы едва ли стал помощником присяжного поверенного в Самаре, его стезя ушла бы в какую-нибудь иную сторону. И — Бог его знает, явилась ли бы нужда тратить народные денежки на чертоги мемориала...

Я спулся по спуску Минаева, мела метель, снег таял; плакал город Симбирск...

И так пустынно было округ чертогов мемориала; двухэтажная гостиница «Венец» казалась пустою. За мемориал архитекторам дали Ленинскую премию, за гостиницу Гос. премию. Не дать нельзя было: премии закладывались уже в проектную смету. На эти денежки построить бы в Симбирске что-нибудь... соразмерное по значению Карамзинской библиотеке, построенной в прошлом веке.

Володя Ульянов всегда был отличником. Первым учеником, медалистом. О чем это говорит? Ну, конечно, прежде всего наилучшее домашнее воспитание, педагогический талант родителей. А еще? Честолюбец? Комплекс человека маленького роста — стать первым? Наследственная взрывчатая



смесь кровей? Почему в своих деяниях Ленин опирался на еврейство? А на кого же еще? Чемпионом по шахматам на нашем судне стал Лева – еврей, он умеет считать варианты. Нужны были люди, умеющие считать. И все же... Почему уж так? Откуда взялись наместники Ленина в Советах, армии. Чека? Ни один из них не испытал на себе железной пяты капитала, не знал фабричного труда, эксплуатации, нужды и т. д.

У руля государственной жизни оказались тогда люди, посторонние глубинной исторической жизни народа, безбожные. Предвидеть ход жизни может человек одной крови, одной души с народом, страной, любовью и состраданием. Такого человека тогда не нашлось у руля; его не видать и поныне.

Под ульяновским мостом прошли в тумане... В недавнем прошлом из Ростова шел вверх по Волге туристический теплоход «Александр Суворов». Да-с, великий полководец... Плыли на теплоходе шахтеры – веселый денежный народ... Был май, дивная, чудная, божественная погода. В десять часов вечера на вахте стоял старпом. Тут есть версии: то ли старпом ушел с мостика, оставив руль рулевому, то ли углубился в себя, отвлекся от навигационной обстановки (его нет в живых, не спросишь). Рулевой имел место. Пролеты ульяновского моста, ежили идти снизу, – слева выше, рассчитаны на судоходство. Убыль в высоте пролетов заметна даже непосвященному верхогляду. Да... Говорят, на судне был какой-то ансамбль, играл в кинозале; на верхней палубе танцевала публика. Спиртные напитки тогда продавались. Скорость у «Суворова» была малая (тут тоже говорят разное). Все были наверху, ибо на дворе май, теплый вечер, хорошее настроение, деньги, шахтеры, огни, музыка – все было. И мы никогда не узнаем, что побудило стоявшего у руля переложить руль на несколько градусов, или же это счел нужным старпом.

Пролет оказался ниже на 1 метр 40 сантиметров кровли кинозала. Первыми убило тех, кто был в рубке, затем убило всех, кто был на верхней палубе, в кинозале на танцах – танцующих, веселых, отдыхающих, флиртующих. По рассказам очевидцев, вода в Волге стала такой кровавой, какой она не бывала даже при великих сечах в разинские, пугачевские времена. Густо плыли трупы, части человеческих тел.

Да... А «Суворов» все шел, шел, машина в его чреве работала, давала обороты.

От удара сместились рельсы на мосту; шел состав с лесом и цистернами; лес, цистерны падали на судно, побивая тех, кто остался жив.

Капитана подобрали в воде, его вышибло из каюты. Капитану дали десять лет. Для разбирательства приезжал Алиев.

Что это было – случай или знак Божий, возмездие за разгул, невежество, безбожность – именно здесь, в Симбирске; и за мемориал?

Идет в кинозале конкурс «Мисс Круиз». Работает на эстраде несравненная Галя – улыбка в 32 зуба, ямки на щеках, где-то в подщечьях, ближе к губам; круглые, цвета ореха в шоколаде (орех в шоколаде продавался в Астрахани) глаза; живот, груди, плечи – всего много и как-то в меру, уместно; и тонкие в шиколотках, точеные, идеальные ноги. Галя высока, еще выше поднята на высоких каблуках.

– Кавалеры, подумайте: почему каждого из вас пригласила ваша дама. Именно вас. Ну вот вы первый. Пожалуйста, выйдите сюда. И вы. Скажите нам, как вы думаете, почему вас выбрала ваша дама. Мы плывем уже шестнадцать дней, разбиты на группы, вместе ходим на экскурсии, на завтрак, обед и ужин. Мы в чем-то стали похожи друг на друга. И все же... Почему вас пригласила?.. Пожалуйста!

– Во-первых, потому что мы сидим за одним столом...

– Так. Еще почему?..

Зал заполнен. На стуле с баяном Гера, «музыкальный гном» теплохода. Сзади, на окнах, всюду – команда, толпа: официантки, матросы...

Сияет в улыбке Галино лицо. Я знаю, Галя невесела: в каюте оставлена трехлетняя Ньюша. Спит ли она?

«А.Сурков» идет все выше по Волге, в ночи: не видать никого из тех, кто ведет теплоход.

Вернулись мы в наш скудельный березовый рай. По Далю «скудельный» – глиняный сосуд, непрочный, слабый, хрупкий и – бренный, преходящий.

Я говорю «скудельный» в смысле скудный и еще по звуку, с художественным, музыкальным, поэтическим призвуком, тоном, оттенком. Низкие берега истинной Волги. Березы как клавиши органа, и можно услышать небесную музыку, долго быть одному, с плывущими в окне березовыми берегами.

Но — мешают. Творческое состояние не уберечь, отдаешь его — легко, безоглядно, с терпимой болью в душе — первому встречному. Он приходит, является, ставит на стол бутылку, с волевым проблеском в глазу, берет тебя за горло и потребляет. Ты ему нужен, он вправе тебя употребить: заслужил. На теплоходе можно плыть, танцевать, приводить в каюту ту или другую даму и можно выпить с писателем, он мужик простой; взять его за горло, ощутить слабость и теплоту горлышка...

Березы белоствольные — хранительницы российской снежности. Березовый мир в конце октября на верхней Волге — бел. И осинки, с легкой прозеленью кожицы. Клубящиеся темно-зеленые сосняки. И размывы, растушевки, лиловатая вязь березовых веточек — капилляров.

И чай желтеет из стакана...  
По дороге из Плеса в Кострому.

Вчера вечером стояли у технического причала Ярославля. Сошла на берег одна из туристов, в тапочках, без денег и документов. Пошла позвонить по телефону. Телефонный разговор вполне отвлекает женщину от всего другого, поглощает женское существо. Женщину привораживает телефон, возможность произносить слова и слышать что-нибудь в ответ, то есть болтать, лишает женщину рассудка.

Туристка отстала в Ярославле от теплохода. В милиции ей дали справку, что она отстала и ей следует содействовать в водворении на теплоход. Ей содействовали. Она догнала в Череповце теплоход, ее привезли на лоцманском катере.

И ладно, и хорошо.

В Чебоксарах сошел на берег — с концами — Леша, мастер по вентиляции на аккумуляторном заводе, огромной силы могучий мужик, с усиками, с большими плечами, руками, ногами, животом. Он ушел от жены Нади, закончившей ПТУ на Севере, в короткое время замужества разевшейся до размеров квашни, сварливой, вздорной, белобрысой, ревнивой (как жаловался муж).

Леша-вентиляторщик нес в себе неистощимое спокойствие могилы, однако был ходок по части танцулек и бутылков. И вот не выдержал — первым сошел по трапу на берег, как в воду канул. Накануне мы вместе с Лешей потели в сауне, малость выпивали, закусывали цыплятами табака. Ничто не предвещало Лешино ухода. Он говорил, что у него на даче в Мичурине, на участке, есть срубленное дерево весом 32 кг, которое раньше он мог выжать 32 раза, а теперь только 7. И вот Леша нет.

Утром был Плес. Еще не настало утро, чуть брезжило. Мы поднялись в гору, поросшую березами, нам открылось плесо, самое долгое на Волге, ибо «плес» — это прямо текущая река, от излучины до излучины, от переката до переката.

Наша водительница, женщина искусно искушенная в своем деле, говорила слова, идущие от сердца, включала свое сердце, запела утреннюю песню. Над горушкой справа восстало Солнце, осияло Рыбную Слободу. Небо обозначило себя, явился источник света; картина обрела освещение. Свет в картине — это глаза человеческие, зеркало души; теплятся или не теплятся. Глаза выражают национальность человека или принадлежность его избранной для жизни земле. Левитан первый из художников пролил на своих полотнах свет русской души, придав ему силу-искренность откровения. Это не всегда есть у Шишкина, разве что в вечернем сосновом бору. У Левитана самые русские пейзажи.

Плес — самое русское место на всей Волге. Тут есть высота места, вида, духа. Плес — это «Над вечным покоем», «Вечерний звон», все другое левитановское. Это — русский свет.

Идем Волго-Балтом. Вернулись в родные края. Березки как струи снеговоя, им никогда не потучнет до волжских, плесовских берез. На некоторых березках еще пестреют листочки. Зеленая трава в прогалинах. Синий дым костра. И особенно заметная в эту пору, в голизне поздней осени, лесная дорога, как

половица в избе, тверда, ровна, приманчива для ноги. Реденькая рыжина листовенниц у шлюзов. Туманность осин под сосняками, лиловость березовых ветвей. Господи, как прекрасна поздняя осень в наших краях, у нас на Севере.

А вот и поженка-сузёмка, с желто-зеленой отавой и стожком.

Гори, звезда приветная!

Шлюз № 3, еще осталось две ступени до Онего-озера. Немыслимо, божественно прекрасен мир. И – возвращение домой, нарастание чего-то родственного, потепление атмосферы. Нелюдимый, застенчиво-замкнутый, по-петербургски застегнутый на все пуговицы, я здороваюсь с каждым встречным на палубе, рассказываю мои изрядно залежалые байки.

Почти не болит сердце (год минул после инфаркта): Волга поздней осенью полезна для сердечника: сердце подключается к великим источникам энергии. В молодости нас учили, что электростанции на Волге – стройки коммунизма, ну, разумеется, великие. С коммунизмом надо подождать. Сердце человеческое питают не станции, а уберегшая себя, такая, как всегда была, Волга. Плётс на Волге...

И еще Василева Слобода. Там родился Чкалов, в семье кузнеца-котельщика Павла Григорьевича. У Павла Григорьевича было одиннадцать детей; жена его померла; он взял другую жену – и ничего, жили в довольстве. Дом кузнеца Чкалова не хуже дома начальника народных училищ в Симбирске Ульянова. Павел Григорьевич кормил семью своим трудом, без смутьянства. Он – частица станového хребта рабочего класса. Маркс с Энгельсом отнесли бы Павла Григорьевича к «рабочей аристократии», заклеили бы как продавшего буржуазии. Так, хорошо работающего, по-человечески живущего крестьянина заклеили «кулаком».

И вот в семье «рабочего аристократа» Павла Григорьевича Чкалова родился будущий «великий летчик нашего времени» Валерий Павлович Чкалов. На родине его, в Василевой Слободе, учредили музей, построили ангар, и в нем АНТ-25, на котором... Ну да, сначала до острова Удд, потом через Северный полюс в Америку. И – копейка сыскалась в кожанке Чкалова. За нее давали в Штатах 100 долларов, а Чкалов оставил себе на память. И смокинг, в котором Чкалов предстал перед американским обществом.

Летели 66 часов, трое: Чкалов, Байдуков, Беляков, как ласточки-береговушки в норах, в железном холоде, со скоростью не более 170 км в час.

На рейде против Свирицы, у выхода в Свирскую губу, где прошли мои молодость и средние годы, в резиновых сапогах, с ружьем, с надеждой на последующую прозу: напишу рассказ про охоту, напечатают – получу гонорар... С восторгом в душе – перед этой болотной ровностью, низкой лесной кулисой вдали, блеклостью желтой тресты, острой синевой проток и ламбушек.

И вот мне выпало долго сидеть в каюте, близко к свирской воде, вглядываться в бедность здешнего пейзажа, смутно что-то припоминать, почти ни на что не надеяться, спускаться в столовую, хлебать молочный суп...

Шторм в Ладоге. Дует не слишком студеной, резкий северик. «А. Сурков» лежит в дрейфе. Системы работают нормально. Далеко осталась большая Волга с ее городами – братьями и сестрами. Идет снег в Ульяновске, висит шапка в музее Чапаева в Чебоксарах. Василий Иванович, пока мог, рубил ни в чем не виноватых, гораздо лучших, чем он сам, русских людей, посылал других русских людей под пулеметы. Почему ему такая почеть? За что?

В «Спутнике по реке Волге» дается взгляд на Чебоксары его коренных жителей чувашей. «Васька город (Васильсурск) хорош город, а Чуксар город куда лучше всех». Русские в шутку прозвали чувашей Василиями Ивановичами, и всякий чуваш откликнется на это имя.

Вот какой неожиданный генеалогический подкоп под Василия Ивановича Чапаева, чебоксарца.

Ветер крепчает. Теплоход стоит на озерной волне, доходящей сюда, до Свирицкого рейда. Для чего-то мне надо еще поболтаться в Свирской губе. Однажды, с приятелем Женькой Сидорцевым, мы болтались тут ночью на лодке, пьяные. Почему-то не утонули.

Вчера, в моей каюте-люкс с кондишеном, читал Виктора Лихоносова «Люблю тебя светло». Виктор высказал свою ненависть к пльвущим в

дорогих каютах на пароходах по Оке. И свою любовь к Есенину, Домбровскому (не любящему Есенина), отчасти Юрию Казакову. Я не разделяю его чувств, но признаю за ним силу, проникновенность, талант, обхватывающую тебя вязкость словесной ткани.

«Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя», — поют по радио.

Налетает шквал за шквалом — из озера в Сви́рскую губу. Ладога гневается.

«Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя...»

Так близко до дома. И хочется пропеть моей жене: «Люблю тебя, люблю тебя...» И правда полюбить.

Вчера рыбак из Эстонии Коля, его жена Алла угощали меня консервами из угря, консервами из форели, водкой, арбузом. Начальник рейса Павел Павлович Калюжный угощал меня черной икрой, севрюгой, водкой, рассказал о том, как...

«В июле 41-го года, ночью, в потемках, взлетели над Москвой, чтобы сбить разведчика. И-16 — самолет для аса (в музее Чкалова стоит И-16, Чкалов его испытал). Чтобы летать на нем, нужно быть асом. Не ас сразу свалится. И-16 крайне труден в управлении. И вот взлетели троим, три истребителя, радио не было, обещали указывать путь прожекторами, но свет прожекторов блуждал, а потом и вовсе пропал. Что-то в небе мелькнуло, но определить — свой, чужой — нельзя было. Излетывался бензин, а сесть некуда: полосу занял бомбардировщик, который готовили лететь бомбить Берлин. Связи с землей не было. Бензин выгорел...»

Павел Павлович не знал, что на полосе бомбовоз, сел и врезался в него, чудом остался жив. Из взлетевших вместе с ним один разбился, другой бросил машину, выпрыгнул с парашютом. После стало известно, что в ту ночь погибло ни за грош девять «ишачков».

Павел Павлович рассказал и посомневался, надо ли знать молодежи такую правду о войне.

Ночью стучали ногами по палубе, с мостика доносились команды-стенания. Судно парусило, ветер тащил его в здешнее болото, разворачивал. Буксир «Туапсе» помогал «Алексею Суркову» оставаться носом к волне. Большой белый теплоход уподобился подраненному свирицкими охотниками лебедю.

Утром бежала, пенилась, кровенела от солнца вода. В ресторане дали рисовой каши. Над судном сгушалась неясность, беспомощность, недужность. Павел Павлович мрачно пророчествовал: «До вечера проболтаемся». Ходили слухи, что капитан решил было подняться до Лодейного Поля, там пересадить пассажиров в автобусы. Он бы и поднялся, но за ночь ветром разбросало самоходки поперек фарватера, идти вверх по Свири нельзя.

Казалось так сладко остаться до конца на беспомощном судне... Тут явился чумазый речной буксир «Туапсе». Представилась возможность движения, перемены. Я перевалился на палубу буксира, пронизываемый дьявольским ветром. Вскоре влез на Свирицкий причал. Вдруг стали подходить большие красные автобусы: сработала связь, в которую и сам Павел Павлович перестал верить...

Через день, в конце другого дня, я стоял у причала Речного вокзала, скрывался от ветра в каменном проеме схода к воде, потом в вестибюле теплохода «Мария Ульянова», поставленного тут в качестве гостиницы. «Алексей Сурков» появился неожиданно, как пишут, «ком огней». Он шел будто крадучись, в неурочное время, с 40 пассажирами на борту.

Один из туристов растравлял мою душу: «Стало так хорошо. Все поселились кто где хотел, кто с кем хотел. Мы выходили в озеро утром, так было красиво: блестящий в снегу, в инее лес. И по озеру шли близко к берегу...» Если бы все повторилось. Нет... Плавание кончено.

Давно уж дома, дома, дома,  
кругом домашние дела,  
но подступает к горлу комом  
вода, что медленно текла.

Стозевно под винтом бурлила,  
играла рыбкой под луной:  
Все это было, было, было,  
вовек останется со мной.